

Три удара молотка, и стальной желоб вошел в березовое тело. Апрельская древесина была ему что масло — набухшая и мясистая.

— Так что, Серый, хреном ты маешься, — продолжил брат Саша.

Саша был старше на три года, но рассуждал как батька. Низкий, белобровый, с плотной кадушкой головы. Обжаренный деревенскими ветрами до веснушек.

По желобу потек мутный березовый сок.

— Ну я еще понимаю, дед в институте работал. Так ведь инженером. Станции, там, строил. Нормально.

Он обмотал вокруг ствола проволоку и прицепил к ней вскрытую баклажку. Прямо под желоб. Сухое дно тут же покрылось брызгами.

— Хорош надой. — Саша оценил восходящую силу жизни.

Капли блестели на солнце. Оно было повсюду, хотелось чихать.

— Отец — военный. А ты, Серый, — продолжил он, обходя следующий ствол, — что ты? Что за чушь — философия? Убей — не пойму. Ну, думал, блажь приперла. А нет, гляди-ка — доцентом стал. И много от тебя толку, доцент?

Саша зарезал еще одну березу. На этот раз взял ниже, почти у самых корней. Баклажку поставил на землю, привалив камнем от ветра.

— Чего молчишь, Серый?

— А от кого толку много? — возразил Серафим Иванович.

— Да я не про то. Вот тебе сколько? Тридцать? А как старик, ей-богу. Очки нацепил, сутулый весь.

— Ну, сам знаешь. Не всем землю пахать, — сказал Серафим Иванович и бросил вдогонку: — А вообще, скажи, кто тут в деревне из наших не спился? Только тот, кто в город уехал.

Саша потер нос.

— Да ты просто задница ленивая. Философы... Развелось! Работать не хотят, только языком треплют.

С поля к роще по снежным лужам пробирались два желтоголовых мальчугана — Сашины дети. Утопая в резиновых сапогах, они спешили к отцу на участие в апрельской мистерии.

— Так и помрешь один, — заключил Саша. — Эх, Серый-Серый...

Дети дошли до рощи и принялись толкаться и пихаться руками за какую-то сонную букашку. Серафиму Ивановичу она тоже показалась интересно устроенной.

А потом резко стало обидно и неудобно от слов брата. Апрельское солнце звало в свой мир, далекий и от этого разговора, и от деревенской реалии, в которую он вернулся на одни только выходные. И она ему сразу показалась враждебной. Двадцать лет назад поля были шире, воды чище, дачников меньше. Да и деревья выше.

Убогая нищая земля!

Куда приятней благое платоновское солнце. Желток гоголь-моголя, цыплячий пух, вечное детство. Оно манит в эфирный мир, по-детски настоящий. Между невинностью и первым телесным волнением — тоской умерших семян.

Он ушел в вглубь рощи, где та сначала редела, а потом переходила в настоящий лес. Стена берез и тополей гладким лоском отражала человеческий шум. Тут свистели синицы, и громко было слышно свое дыхание.

Половодье еще не сошло, и деревья тянулись из талых зеркал — в них тоже гляделось солнце. Все кругом горело, некуда было глаз спрятать.

Серафим Иванович отвык от деревьев, хотя ребенком проводил много времени в рощах, склонный к уединению и бегству от людей. Он давно уже жил в столице и за минувшую зиму видел только бульварные тополя. Большие, но жалкие из-за кривизны и белой краски. Их кору изъела соль, которую узбеки сыпали от гололедицы.

Коснулся березы. На руке остался мучнистый след, ладонь пахла лесной пылью.

— И страна березового ситца, — продекламировал он, — не заманит шляться босиком. Заманит! Еще как... засосет просто-таки.

Ветвистые лохмы штриховали небо, в них путались лучи.

— Блажь, — протянул он, — блажь.

Слово это ему сейчас очень нравилось.

— Блажь — это то, что сейчас.

Надавить посильней ногтем, и береза была так полна соком, что он тут же напитокывал все вокруг.

Когда электричка несла его обратно в Москву, поля сливались медным заревом. Дома странных деревень, в которых бог знает кто и зачем до сих пор жил, казались еще более серыми и ветхими. Весна пыталась стряхнуть их с холста. Так раньше его мама выбивала ковер, и гул летел через слободу. И дальше, на луг, и там был похож на свист и выстрел.

Интересно, кто-нибудь еще выбивает ковры? В его съемной комнате их не было. Хотя пыль осталась, и ее было много — в апрельском ветру она свистела над асфальтом, на зубах, на книжных полках институтской би-

блиотеки. На шкафах кафедры, на мониторе. Он даже был уверен, что стал носить очки не потому, что много читал, а от запыленности глаз.

— Пыль, — сказал он тихо, складывая в портфель ве- домости. — Пыль — это наша городская жизнь.

Серафим Иванович второй год работал доцентом на кафедре философии и читал лекции студентам.

— Что это вы такой хмурый, Серафим Иванович? — возразила пожилая профессорша, от которой всегда пахло сладью и старым табаком. — Вон какая весна на улице!

Оправляла шиньон у окна, и в лучах появлялась пыль с ее волос.

Все не шли из памяти слова брата. Визит в родной деревенский дом поселил в нем тревогу.

Конечно, столичная жизнь была пылью, но вот жизнь в деревне казалась и вовсе беспросветно серой. Полной зависти к ушлым браткам, которые успели пере- ехать поближе к кормушке. Полной скуки, семейной брани, упреков за пьянство. Стопудовой русской думы о сложностях быта, ненависти к чиновникам, государ- ству, телевидению. И одновременно заряженной кон- довым «патриотизмом» под вечный неумолчный шум голубого экрана.

Еще кашель отца. Тот выдувал по три пачки злой «Явы», прикуривая новую сигарету от окурка старой. Грудь его так ввалилась, что можно было вылить на нее ковш воды, и ни капли бы не вытекло из этого анатоми- ческого озера. Волновала жена брата, ее презрение к больному свекру. И дети брата — не их настоящее, а их загубленное в деревне будущее. Сейчас в детском саду, где они ковыряют старые покрышки, всего десять человек. Наверное, его скоро закроют, и демографи- ческая яма станет еще глубже.

Но не в этом дело. Просто Серафим Иванович не хотел признаться, что все эти волнения были ширмами. За их витиеватым орнаментом из драм окружающих жизней скрывалась его личная. В музее Востока он од- нажды видел картину-диптих «Старая Фудзи». На ее ле- вой части была просторная комната с японской ширмой посреди. На рисовой бумаге, что обтягивала ширму, высилась голубая гора со снежной шапкой, чуть скры- тая ветвями сакуры. На второй половине картины — та же комната, но вид с другой стороны. Абсолютно голая японская старуха с белым лицом, вертикально накра- шенными губами и уродливо пожелтевшим толстым, как тыква, телом. На этот раз ширма не скрывала ее, а была за ней, и гора с цветами вишни еле проступала на просвет. Японского художника-постмодерниста не любили на родине за мотив культурной десакрализа- ции в его работах, но на Западе и в России он прижился. Серафим Иванович понимал, почему: Восток знал, что

жизнь и так сплошь страдания, и глупо умножать их, разоблачая покровы. Запад же со своим идолом науки эти страдания, даже если и понимал, то засахаривал и болезненно смаковал. Точно символом этого сахарного смака на столике старой японки была изображена горка надкусанных пирожных «моти» с клубничными ягодами в сердцевине.

За ширмой была страшная бездна. И уже Ницше сказал, что нельзя всматриваться в эту бездну, и пусть лучше нас будет манить и волновать покров, чем то, что за ним. В этом философ полагал отличие ученого от художника.

Перед Серафимом Ивановичем дремотно темнел пустой коридор со стендами кафедр на желтых стенах. Он возвращался с лекции, которую никто не слушал, да и лекция была про Гегеля. Портрет его уныло всматривался в Серафима Ивановича со стены. В отеком лице философа глубоко зарылось брезгливое равнодушие. Его вид вызывал тяжелый вздох.

Серафим Иванович уже собрался проскользнуть в свой кабинет, как услышал за дверью деканата торопливый женский голос. На него напирал другой — густой и надежный, но явно недовольный бас.

«Декан кого-то распинает», — догадался Серафим Иванович.

Еще раз вздохнул, глядя на Гегеля, и пошел дальше. Но голос женщины удержал его, как держит голос обиженного маленького существа, просящего о помощи, когда просить не у кого. Серафим Иванович замер.

Декан выматывал ее, то понимая воркуя, то вновь хлестко отчитывая. Так кот мнимо ослабляет хватку и бдительность, держа в когтях мышь, чтобы потом снова прикусить ей спину. Женщина начинала заикаться и переходила на шепот, искала силы и вновь заикалась.

Наконец дверь открылась. Из деканата вышла Валентина — Серафим Иванович знал, что она с соседней кафедры, но лично знаком не был.

Валентина подняла огромные черные глаза на него, улыбка страха дрогнула на лице, и маятник качнулся обратно в отчаяние. Она прижимала папку бумаг к груди, шла боком, как запуганная козочка. Дверь закрылась, но на миг Серафим Иванович увидел брылястое лицо декана.

— Что-то случилось? — шепнул он Валентине.

Румянец брызнул в ее бледное книжное лицо. Через очки сверкнули два уголька — недавно он уже видел такое в роще.

— Это бывает... это ошибка. Она случайная, никто не знал. Конечно, я тоже хороша.

Валентина путалась и по два раза начинала одно и то же слово. Внутри у нее был ураган, и удивительно, как хрупкое тельце могло сдержать его. Оно от этого дела-

лось еще более прозрачным и тонким. Длинные пальцы перебирали углы листов, медный браслет сполз до самого локтя.

Под его взглядом она хотела оправить локон, но побоялась выронить папку, так и замерев с рукой на полдороге к волосам.

Они шли медленно, словно один из них был ранен, и быстрое движение привело бы к потере крови. Валентина все же заглядывала в его лицо. Вскоре она разговорилась и уже настырно искала в нем помощи.

Серафим Иванович охотно клеймил декана, а она сначала защищала своего мучителя, но потом перешла на сторону спасителя и начала смеяться. Маленькие тонкие губы при этом обнажали неровные белые зубы до самых десен, и она так же, боясь выронить папку, пыталась прикрыть их ладонью.

Вместе дошли они до кафедры Серафима Ивановича, но она зашла вместе с ним. Теперь уже она не могла отвязать себя, ей нужен был указ.

— Вы говорите, античность? — Она поспешила спросить о его научных интересах. — Удивительное совпадение.

— Чего же удивительного? — спросил он, присаживаясь, но не предлагая сесть ей. — Тут ей каждый второй занимается.

— Просто я пишу о Ницше, — поспешила она. — Потрясающее его «Рождение трагедии». Античность, театр, музыка... Я хочу сказать, все так связано. И ведь никогда не подумаешь об этом, а тут как глаза открывает!

— Да, это интересно.

— Но ведь как мы с вами совпали в этом! — вспыхнула она и тут же снова опустила глаза, испугавшись своей непосредственности, как пугаются большой волны далеко заплывшие купальщики.

Серафим Иванович не понял, в чем они совпали, но зато понял эту ее волну.

— Если бы не отчет, — она потрясла папкой, оторвав ее на миг от груди, — все эти объяснительные... Тогда мы могли бы обсудить. То есть, если находишь человека... Я хочу сказать, что это редкая возможность даже в академическом кругу. Не то что в жизни.

— Всем иногда нужен кто-то, чтобы поговорить.

— И только о высоком! Только о нем стоит говорить.

— Значит, вы идеалистка? — спросил он.

— А разве такие бывают? — пожала она плечами. — Я, как и многие, так же смотрю на небо, на землю, на людей. Каждое утро у меня те же ритуалы, что и у всех. Такой же кактус на окне.

Вновь обнажились десны.

— Я хочу сказать... но это все неполнота. Понимаете?

— Так-так?

Серафим Иванович и сам не заметил, как попал в невидимую сеть.

— Ну, неполнота жизни. А полнота, — она сбилась, начала еще раз, остановилась, села на краешек стула, — настоящее там, не здесь.

— В книгах?

— Ну да, в идеях, в мыслях. В умах великих людей.

— Да, я понимаю, о чем вы. Но уверен, наши переживания куда реальней их великих идей.

— Нет, что вы! — ужаснулась она. — Это все тусклый отблеск.

— Иногда я тоже так думаю, — он увидел в небе тающий след самолета, — но в такие моменты жизнь уж больно тяжела становится.

— Наоборот! Есть какой-то свет впереди.

Ее пылающие угольки сожгли страх. Она распрямила плечи.

Он возразил:

— Но ведь если все, что нас окружает, полно фальши и только тусклый отблеск чего-то настоящего, как тогда к этим реалиям относиться? Эти отчеты, графики, бумажки... При том что настоящее вовсе не здесь, а где-то. Стало быть, мы глупцы, если, зная об этом, живем, будто не знаем.

— Но мы должны сочетать эти два начала — иллюзию и полноту. Как место встречи. В сердце. Мы — место встречи.

Он все ждал, когда же она снова опустит глаза, чтобы рассмотреть эту ямочку на ее подбородке, горбинку носа, слегка торчащие уши, линии век, в которых глубоко засел испуг.

— *Homo mensura omnium rerum*¹, — сказал он.

— Думаете? А что тогда мера человека? Если человек сам по себе — мера вещей, то ему не к чему стремиться. Это путь к деградации, — смело заявила Валентина, — и должно быть высшее что-то, чему человек не способен быть мерой.

— Сверхчеловек, очевидно?

— Во все не факт, — парировала она. — Может быть, тот же человек, просто узнавший некий идеал. Обладатель истины, любви. Низкий человек, убийца и деспот может мерить вещи по-своему, а человек истины и любви — совершенно иначе. Это взаимоисключающие взгляды на мир. Человеку дан огонь желаний... стремления к идеалу. Значит, никакой он не «мера всех вещей».

Она дышала судорожно, нервно теребила папку в руках, но по лицу было видно, что от этих разговоров у нее пробиваются крылья.

Как без стука в кабинет вошли профессорша и запах табака. В этот же момент прочь выпорхнул другой запах, похожий на горечь смородиновых почек. Этот контраст запахов не скрылся от Серафима Ивановича. Он с раздражением глянул на профессоршу, но та по-матерински склонила голову и сцепила пухлые пальцы у груди.

— Валенька, как вы, бедная моя? Не переживайте уж, не ешьте себя. Ошибки случаются. Ничего страшного не будет. Что вы, декана не знаете? Ну, помычит, да и забудет.

Валентина съежилась, прижала крепче папку и встала.

— Конечно, Нинель Петровна. Я тут засиделась вот. Побежала, надо подпись...

Профессорша подозрительно улыбнулась Серафиму Ивановичу. Туш на ее ресницах сбилась в комочки, и он с неудовольствием отметил, как она была похожа на Пугачеву.

— Спугнула голубушку, — хрипло пропела она, проплывая по кабинету. — Простите старую Минерву, нельзя входить без стука. А ведь непросто ей, девочке. Холостая, приезжая...

...Или на Старую Фудзи.

На другой день в желтом коридоре было светлей. Солнце придавило унылого Гегеля лапой луча, чтобы легче дышалось.

Серафим Иванович прочитал с утра лекцию, но домой не спешил. Нашел в институтской базе данных досье Валентины — фото лет пять назад.

Еще без очков. Волосы в пучок, музыкальные уши вздернуты. Там она показалась ему некрасивой. Родной город — Саратов. Точно, приезжая. Наверное, снимает квартиру, боится неустроя. Ищет. Нет, не принца — возраст уже не тот. Просто хорошего друга и спутника жизни. А время идет... Она даже по манере одеваться не москвичка, сразу видно. И тут все — волчицами, а она глаза в пол.

Ее профиль в соцсетях развеял сомнения: фотографии с мамой, кружка чая у дождливого окна, желтые листья, пасхальные свечи, чужие дети и книги, с которых мудрые мужчины уверенно и нежно глядят в ее душу.

Одинокое сидел Серафим Иванович в кабинете кафедр, раскрыв книгу. Чтение не шло. Но шаги за дверью, которые он научился определять, принадлежали Валентине — почти неслышные, хотя и с каблука. Выйти в коридор навстречу ей — вот что нужно было. И он вышел, будто случайно.

— Вы правы, — согласилась она, — прогуляться сейчас самое время. Давно не дышала.

Они спустились в кафетерий и взяли кофе. Вокруг все кипело студентами. Жизнь кричала и рвалась вон.

¹ Человек есть мера всех вещей (лат.).

Серафим Иванович оглаживал стакан, поглядывая на жизнь.

— А ведь я тоже совсем недавно был новым поколением, — усмехнулся он. — А теперь они — новое, а мне «время тлеть», как сказал поэт.

— Чтобы тлеть, — возразила Валентина, помада которой сегодня была ярче, — надо сперва расцвести. Вы уже прошли фазу расцвета?

— А что она подразумевает, эта фаза?

— Все самое высокое. — Блик сорвался с губ на солнце. — Чтобы в конце жизни сказать: да, действительно, все у меня было, все я повидал. А держался самого лучшего.

— Мне нравится, Валентина, что с вами можно говорить о высоком.

Он пристально посмотрел на нее, и она случайно толкнула стаканчик. Кофе разлился, она вскочила, и тут же начала заикаться в извинениях, кидая на стол салфетки.

— Пойдемте гулять? Здесь слишком шумно.

Покраснев до кончиков ушей, она виновато и благодарно улыбнулась ему, и они поспешили прочь.

— Стойте, — вздрогнула она, — у вас... Вот тут.

На сером свитере темнело пятно в бисере кофейной жижи.

— Надо срочно отмыть. Ох, я с детства такая неуклюжая!

Глаза ее были влажными.

— Пустяки, — сказал он, — отмоется.

— Если не замочить, то нет...

Через две минуты они стояли над раковиной. Он — оттягивая полу свитера, она — растирая мылом. В уборную заходили студенты, здороваясь и смеясь. Кран фырчал, мыло пенилось, все шумело. От ее волос, мелькавших где-то снизу, пахло смородиной.

Свитер напитался водой, обвис с одного боку, и оба они наконец тоже рассмеялись. Они зашли на кафедру, где Серафим Иванович хотел снять мокрое и надеть пальто прямо на футболку.

Если бы кто-то еще был на кафедре в тот день, ее руки бы не были так смелы. Ведь футболка тоже была мокрой. Они замерли и посмотрели друг другу в глаза, ощущая в горле стук сердец. Страшную силу, которой нужно было выйти.

Заикание обладает мистической силой давления, слабость и робость образуют воронку, куда скатывается все. Розы, пыль, след самолета в небе, штрихи веток, нищая земля, капли, кровь, ставшая молоком. Жизнь. Вот что нужно — жить. Потому что все вокруг только и ждет, что жизни. И все вокруг, что не жизнь, — то сильное, а жизнь слабая. И надо делать ее крепче.

— Вы слышали — «зов бытия». О нем Хайдеггер говорит. Я хочу сказать...

Он зарылся носом в ее волосы у самой макушки. Где особенно пахло этим соком смородины. Там где-то прятался исток жизни — слабый, нежный, зовущий, как воронка, в которую скатывается все.

— Я хочу сказать...

Еще он заметил слезы в уголках ее глаз, когда она снимала очки.

— Господи, — отчаянно шепнула она, — какой ужас! Какой ужас!

Дрожащими руками гладила его, а он как-то нелепо, что потом неудобно вспоминать, зарывался лицом во всю ее. Зарывался ресницами. Там были пульсации — то слабее, то сильнее запах.

— Давайте уже, давайте, — она цокнула языком. — Ницше говорил, идешь к женщине — не забудь плетку.

И закрыла дверь кафедры изнутри.

Когда первого мая электричка несла его обратно в деревню, поля летели черным пеплом, и над ними лежал дым. Чтобы трава была зеленее, жгли прошлогоднее жнивье.

«И откуда в этом пожаре могли взяться новые семена? — думал он. — А ведь пройдет месяц — и все тут будет густо зелено».

«Наверное, — думал он, — все полно жизни, все вокруг — семена. Прав Анаксагор! Нет ничего окончательного, все ждет, все трепещет от полноты, и какой ужас охватывает. И какая от этого ужаса радость!»

По пеплу травы прошел полем к деревне. Через грачей и медовое марево рощи. Отец вышел на крыльцо. Седо-лысый, похудевший — выписали из больницы после отека легкого. Молчаливый и смурной от телесной слабости, которая, как он чуял, никогда уже не оставит его.

Все менялось в его доме теперь, все упрощалось. Огород Саша засеял газоном — никому больше не хотелось хозяйствовать. Продали кур, осталось две козы, но и тех решено было пустить в расход.

— Жаль, — заметил Серафим Иванович, — ведь все мы выросли на их молоке.

Его услышала Тоня, жена брата. Она презрительно оглядела его с головы до ног и брызнула:

— Ну и забирай их к себе в институт, учи. Нам тут и без этого добра хватает.

Ночью он сидел на дворе у яблони, слушая тайные звуки весны. В хлеву хрустели своим последним сеном козы.

«В сущности, смерть — это условие жизни. А жизнь — смерти. Туда-сюда. Такая вибрация, а смысл ее нам никогда не понять. Может быть, это струна для мистической мелодии. Может, это луч света, для которого

мы — зеркала. Может, еще бог знает что. А мы точно не знаем. И ничего-то, ничего мы не узнаем», — думал он, увязнув глазами в густой весенней тьме.

«А если мне жениться на Валентине? — он даже улыбнулся и покачал головой. — Но куда ж я ее — в деревню, что ли, привезу? Негде нам жизнь-то строить. А если не жениться, то как быть? У зверей все проще — сошлись на пять минут, и поминай как звали. Вот как это простое желание чужой плоти может родить такие сложные мысли потом? Как бы просто было нам зверьями-то быть! Но мы зачем-то человеки. А зачем? Зачем, а?»

Крученное небо спускало теплый ветер и слабые брызги дождика. Дым и мед — вот два главных запаха весны.

Он проснулся рано от металлического звона с кухни. Недовольная Тоня орудовала тазами, лихо засучив рукава блузы, собрав белесые волосы в лошадиный хвост. Чужое хозяйство было ей враждебно — она хотела скорее вымести из дома все следы прежней жизни. Последний след все еще кашлял где-то в дальней комнате. И она хмурилась от этого.

Серафим Иванович вышел к ней.

— А Саня чего?

— Чего-чего. Там... Морально зреет.

«Там» — это в хлеву, где отец держал скотину. А поскольку молодняку было не до сена-вымени, Саша, как старший, взял на себя роль палача.

— Ладно, — Серафим Иванович отпил из ковша и, натянув резиновые сапоги, отправился на улицу, — пойду гляну.

У ладного хлева, источавшего смолы и навозную благодать, привязанная к воротине длинной шлеей, покорно белела козица.

Саша, рыжий и коренастый, мелькал в сенном провале, готовя тазы и солому. Гремел и горел, разговаривая с невидимым.

Серафим Иванович глядел на его ухабистые рывки, на валуны плеч и думал, что на первого сына ушли весь жизненный сок и генеративный порыв родителей. А ему самому, отмашному последышу, пришлось довольствоваться тем, что осталось. Вот и вышел первым победитель Александр, а следом, дрожа за его скальной спиной, выпорхнул хрупкий Серафимка. Такому только и дело, что раздумывать о тайнах бытия за книжной пылью.

— А! — зыкнул пламенеющий брат. — Утробное бро!

— Доброе утро.

Он увидел в руках брата тонкий и длинный, как шампур, нож.

— Вовремя встал. Держи-ка ее.

Саша потащил козу за ошейник, а животное упиралось. Рывок — и копыта чертят по суглинку. Серафим Иванович перехватил засаленный ремешок. Он почувствовал, как работали органы существа, как оно срыгнуло жвачку и принялось пережевывать. Хрустело сочно, и бугрились желваки на седых скулах. Квадратные зрачки цедили покорное спокойствие утренних лучей. Она, видимо, готовилась к ритуалу отдачи молока, который происходил каждый день в это время.

Неужели она не чувствует, что витает в воздухе этого утра? Его самого била мелкая дрожь. Пальцы, сжимавшие ошейник, стали влажными. А она знает жует — и хоть трава не расти! Идеальный аппарат. Наверняка ее и не кормили вчера, а она все равно что-то ведь жует. Доверчивая, как велосипед.

Коза-коза! Давно ли ты обращала кровь свою в молоко для нас? Давно ли зарывалась сизым носом в щавелевый куст?

— Ну чего ты завис, Серый! — позвал брат. — Веди ее сюда, тут на куче нормально, думаю.

Серафим Иванович, как все еще во сне, повел козу за двор, к компостной куче, где ждал ее силосный одр.

— Держи двумя, — процедил Саша над рогами.

Длинные белые ресницы ткнулись в брезентовую штанину. Саша напрягся, но движение вышло почти незаметным. Следом вздрогнуло и животное. Следом — Серафим Иванович, держащий ошейник.

Ударил в солому парная струя, еще и еще.

С каждым выплеском животное приваливалось к его бедру, стараясь удержаться на ногах. А ноги подгибались, и коза неестественно приседала на задние. А потом легла. И больше ее не было. А было клокотанье в сердце, от которого у Серафима Ивановича вырвался нервный кашель.

Он отпустил кислый ремешок и отвернулся. Брат принес обоюдоострый кол с веревкой, пробил еще теплые сухожилия у задних копыт и, перекинув веревку через турник, начал тянуть.

— Блин, Серый, да не стой. Просыпайся давай!

Два матроса травили кливера. И вскоре туша висела над тазом, в котором пенилась, как вино победы, не ставшая молоком кровь. Вот надрез — и спускает Саша шкуру.

— Такое это дело, — улыбался он, конопато распаясь, — как чулок с бабы снимать.

Когда рыжие руки проникли внутрь, Серафим Иванович ушел на луг. Только теперь он ощутил, как одревенели у него мышцы на спине, как то бывает на морозе или от постоянного гнета, к которому привыкаешь и забываешь о нем на всю жизнь. А он жмет и сутулит человека, и уже готов ты ползти на карачках, но все еще не замечаешь его.

Нет, на лугу было не легче, и он вернулся к хлеву.

Ему показалось, что нет тут его брата, а просто один аппарат копошится рядом с другим аппаратом, разбирая его на запчасти.

К ним вышла Тоня с белоснежным полотенцем в руках. От него пахло порошком. Серафим Иванович уже не мог молчать — слишком густой стала атмосфера аппаратной комнаты.

— Этого мира для нее больше нет.

— «Ек», как татары говорят, — согласилась Тоня, нюхая чистое полотенце.

— Так вот посмотришь, — сказал он, глядя, как Саша аккуратно вырезал желудочную сумку, — и не подумаешь даже, что есть что-то после этого всего.

— В смысле? Жизнь после смерти?

— Да.

— После смерти, — отплевываясь, крикнул Саша, — будет холодец.

Тоня засмеялась.

— А ты что, брателло, — продолжал он, — атеистом быть перестал, поди?

— Атеист — это что-то про Ленина... А мне просто интересно, куда денется вот этот момент? Все есть, и ты это как-то воспринимаешь ведь. А потом — хрясь — и нет ничего? Могила.

— А кто его знает.

— Я думаю, нет, — сказала Тоня, — человека нет — и ничего нет.

— То есть, — продолжал Серафим Иванович, — есть ничто?

— Ничто тоже нет.

— А что есть?

— Ничего... Ну, то есть, да, выходит, ничто и есть.

— Вот. А кто же тогда это ничто видит? Кто его воспринимает, это ничто, если никого нет, а ничто — есть? Для кого оно есть?

Никто не ответил. Где-то ревели пила, шуршал поезд, собака скулила в тоске ароматов, птицы заливались в лысых ветвях. Шмякало в таз.

— Значит, что-то есть, — сорвалось глухо.

— Есть то, что будут есть, — заключил Саша, придвигая ногой второй таз.

Слабая жизнь. Серафим Иванович остро захотел позвонить Валентине, чтобы спрятаться от всего этого в ее голосе. Где-то в ней был ответ, прочное и полное жизни решение. Вопрос, настигший его ночью, требовал этого.

«Как странно, — подумал он, — что я даже не знаю ее номера».

Из дома вышли дети Тони и Саши. Они с любопытством осмотрели тазы и пакеты с парным мясом и принялись помогать родителям относить их в дом. Весна была на пороге, бабочки и мухи, птицы, звери и люди. Только жить, жить...

— Какой ужас! — улыбнулся Серафим Иванович и закрыл глаза.

